# 116.

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<Июль 1813 г. Чернь, Мишенское>*

Я пишу к Вам для того, что на словах или *не всё* скажу, или не буду иметь ни случая ни времени, или не буду уметь довольно ясно выразиться, или от противоречия потеряю из памяти то, что сказать был намерен. К тому же сказанное забывается, а написанное остается.

Наше путешествие в Долбино1, признаюсь, пугает меня и за Вас, и за прочих. Я был бы совершенно покоен, когда бы мог быть уверен, что Вы *захотите* дать волю рассудку, дабы победить то впечатление, которое натурально должен произвести первый взгляд на Долбино. Очень понимаю, что весьма тяжело возвратиться в такое место, где всё напоминает о милом человеке2; но я не понимаю, как можно давать волю над собою печальному чувству, не понимаю, как можно даже находить наслаждение в этом раздражении горести. А этого-то я от Вас и боюсь. Как Вы ни говорите, но имея много настоящей чувствительности, Вы имеете и слишком распаленную голову; ничто до сих пор не заставляло Вас думать об излечении этой болезни, которая, право, может иметь жестокое влияние и на Вашу жизнь, и на судьбу Ваших детей. Пускай бы люди, у которых нет души, трудились над тем, чтобы иметь подделанные чувства, Вам какая нужда прибавлять к тому, что имеете от природы. И несмотря на то, Ваше воображение любит трудиться над изобретением новых горестей, чтобы произвести в душе такие чувства, которых нет и не должно быть в натуре и которые самые натуральные должны наконец уничтожить. Возвращение в Долбино есте-

ственно должно возбудить горестное воспоминание. Но этого довольно. Что перейдет за эту границу, то будет не естественное, а подделанное. Не думайте,

чтобы я здесь говорил о притворстве. Нет! я никогда не замечал в Вас притворства; но подделанным чувством называю такое, которое с усилием, стараясь раздражать и питать свою горесть, наконец, производит <ее> в душе и которое действует на нее столь же сильно, как и настоящее, еще сильнее, потому что ему помогает воображение, которое, произведя его, старается и укоренить. Боюсь,

что Вы, оживив свою горесть воспоминанием, к ней привяжетесь, начнете ее растравлять, может быть, сочтете, что Вы *обязаны* ей предаваться, что не иметь

ее есть оскорбление Вашей должности, Вашей любви; таким образом, прошедшее возобновится, и Вы насильно себя приведете в то самое положение, в какое привела бы Вас новая потеря, подобная прежней. Признаюсь, я боюсь, чтобы Вы не имели вредной мысли, что горесть есть обязанность, что стараться ее уменьшить есть некоторым образом преступление и что, напротив, весьма до-

стойно Вашего характера ее усиливать и продлить сколько можно. Прошу Вас, милая, выйти из заблуждения. Горесть не есть воспоминание, она, разлучая нас с жизнью, переселяет из мира в гроб и связывает с мертвыми союзом, нимало их не достойным. Воспоминание есть союз другого рода: это милое *товарищество*, которого и смерть не разрывает, *завещание*, по которому мы *одни* исполняем то, что прежде исполняли *вдвоем*. Скажите ж! разве Вам не оставлено никакого завещания? а если оставлено, то горесть не есть ли первая преграда к его исполнению, особливо неумеренная, усиленная воображением и никогда не позволенная горесть? На это ни с какою диалектикою не можете Вы сделать сносного возражения. И на что же возражение? Дело не о том, чтобы Вам или мне быть правым! но о нашем общем добре, о нашем общем счастье? Итак, самолюбие в сторону! подумайте о том, что я Вам говорю; согласитесь, если найдете, что я прав (но дай Бог, чтобы я был неправ! тем меньше труда!), и agissez en conséquence[[1]](#footnote-2).

До сих пор написано было в Черни. Наш разговор в коляске меня несколько успокоил. Вы заодно со мною старались опровергать Сашу, следовательно во многом Вы со мною согласны. Но весь мой страх не без основания; и я доскажу,

что был сказать намерен. Одно только прошу Вас как доказательство дружбы: не показывайте никому этого письма. Оно для Вас одних. Мне будет очень больно,

если кому-нибудь вздумается надо мною пошутить и найти мое послание к Вам странным. Право, я пишу для того, что боюсь Вашей поездки в Долбино и думаю

что-нибудь своим письмом сделать.

Вы спросите, чего я от Вас требую? Я требую, чтобы Вы себя переломили; чтобы Вы, дав волю настоящей горести в первую минуту, решительно отказались от всего того, что может ее усилить; не останавливались бы на ней мыслями; избегали бы всякого случая возобновить ее; думали бы о том, что у Вас есть, а не о том, что Вы потеряли, и, наконец, чтобы Вы уничтожили вредную, фальшивую мысль, что горесть есть должность. Стараться быть счастливою, сколько возможно, есть Ваша обязанность, ибо Вы мать (не говоря уже о прочих Ваших связях). Уверьте же себя один раз навсегда, что воспитывая своих детей для *счастья*3 и стараясь сберечь для них оставленное им состояние в наилучшем порядке, Вы самым убедительным образом докажете, что память их отца Вам дорога. Но чтобы иметь в этом успех, надобно сохранить душевный покой, беречь его как некоторую драгоценность, а не стараться его рас-

строивать. Боюсь, что мое требование покажется Вам неисполнительным, но я бы желал — и Ваше согласие было бы для меня самым неоспоримым знаком дружбы — я бы желал, чтобы Вы не ходили в церковь во всё время Вашего пребывания в Долбине. Кто ручается за следствие сильного впечатления. Взгляните на себя! но если и надеетесь на свои силы, то можете ли ручаться за тетушку4 и особливо за Машу. У одной всякий день болит голова. Другой здоровье на волоске. Скажите ж, как не отказаться от обряда (который сам по себе бесполезен и только есть наружный знак воспоминания), когда можно почти наверное предсказать, что он будет иметь на них вредное действие5. Теперь всякое новое потрясение пагубно для Маши; Фор6 говорит: il est bien temps de prendre des précautions sérieuses[[2]](#footnote-3). Следовательно, всего более надобно думать, как бы поправить испорченное; а не прибавлять к старому новое, которое тем будет сильнее, что должно действовать на силы уже истощенные. Еще один какойнибудь чувствительный удар, и тогда, может быть, уже ничего исправить не будет возможно. Подумайте ж, если Вы некоторым образом сделаетесь причиною этого ужасного несчастья? Что нас тогда утешит! Признаюсь, мне очень жаль,

что наш отъезд не был еще отсрочен. Только что начала она лечиться, а уже и готово новое горе: слезы, ночи без сна, унылость — всё это для нее яд! Милая, Вы ее искренно любите, Вы всегда об ней думаете, Вы точно находите счастье в привязанности к ней — в этом я уверен. Но Вам недостает постоянства в Вашей к ней доверенности. Иногда Ваша susceptibilité[[3]](#footnote-4) бывает причиною огорчения и для нее, и для Вас. Зачем давать воображению волю и принимать его выдумки за правду. Особливо с Машею дóлжно быть как можно осторожнее. Вы знаете,

что всё падает прямо к ней на сердце и в нем остается; она скрывает всякое огорчение в самой себе. Бездельное волнение при таком нежном здоровье есть прием яда; а этот яд, мало-помалу скопляясь, наконец подействует. Посмотрите на нее. Эта слабость, право, меня ужасает. Милая, Вам можно быть ее хранителем. Дайте ж мне слово, что с этой минуты даже и тогда не огорчите ее упреком, когда бы имели на то право. Если и может она сделаться перед Вами виновною, то, конечно, не от недостатка дружбы и, верно, на одну минуту. Но ее спокойствие — это должно быть для Вас главное. На спокойствии основана ее жизнь. Душевное волнение для нее пагубно — как же ужасно быть его причиною. Вы всё можете делать для ее сбережения! Вы имеете столько способов ее счастливить — на что же то, что составляет ее счастье, Ваша дружба, бывает источником и огорчения. Я очень понимаю, что можно и в дружбе быть ревнивым (новое доказательство привязанности), но огорчения ревности всегда несправедливы; скрывая их, живее доказываешь свою привязанность. Лучше простить, не дождавшись оправдания, нежели, обнаружив свое огорчение, расстроить

спокойствие милого человека, особливо, когда знаешь, что всякое душевное волнение ему вредно. На Вашем месте при всякой досаде я говорил бы себе: *или я ошибаюсь, или нет! Но огорчу ее верно, лучше же пожертвовать своим неудовольствием.* Я уверен, что против такой мысли никакая досада устоять не может — иначе нет и дружбы. Таким образом, Вы будете не только ей другом, но и в полном смысле хранителем ее жизни. Не правду ли ж я говорил дорогою, что *счастье Ваше в Ваших руках*. Чтоб быть счастливою в дружбе, Вам стоит только не давать воли первым движениям досады и быть не столько взыскательною. Я это говорю не для того, чтобы Вас обвинять, но для того единственно, что по-

читаю необходимым сказать Вам искренно мое мнение. Или я очень ошибусь в Вас, или Ваша дружба ко мне должна за это усилиться. Например, Вы иногда говорите: *я не хотела бы никого любить; всего лучше не иметь привязанности* и прочее. Всё это чрезвычайно оскорбительно и несправедливо; и может служить не только к огорчению, но со временем охладить и самую дружбу, которая не может существовать без полной доверенности. Я смотрю с удовольствием на Вас, когда Вы с такой заботливостью приготовляете лекарства для Маши, но иногда мне кажется это печальным противоречием: Ваши огорчительные ссоры, основанные на безделицах, не должны ли назваться ядом, который уничтожает действие этих лекарств! Разрушать одною рукою то, что сделала другая! День, проведенный в слезах, которые надобно еще скрывать, и ночь без сна то же для Маши, что день болезни. Одним словом, для сохранения ее жизни и Вашего счастья должны Вы наперед пожертвовать всеми будущими досадами, должны решиться их не иметь, даже и тогда не иметь, когда бы было на то право. Такое пожертвование даст Вам полное и счастливое спокойствие, и самая Ваша дружба от этого должна увеличиться. Какое счастье для Вас быть ее хранителем. Веселость души нужнее для нее всех Форовых лекарств, и Вы владеете этим верным лекарством. Вы созданы для того, чтобы быть ею любимою; Ваш характер дает Вам на то право. Истребите ж из него всё то, что может это право

уничтожить.

Я не говорю уже ни слова о том, как необходимо принять предписанный

Фором regime[[4]](#footnote-5). Хотя и сбирался говорить об этом весьма пространно. Я думал сначала, что это предписание будет пренебрежено и Форов совет сочтен неосновательным. Но теперь я спокоен с этой стороны. Кажется, у Вас положено слушаться доктора. Теперь остается одно: постоянство, исполнять *всегда*, что начато

*однажды*. Если нет болезни, то из этого не следует еще, что нет нужды и в предосторожности. Напротив, при таком хилом здоровье, каково Машино, нужно иметь осторожность неусыпную и не оставлять без замечания ни малейшей безделицы: Фор говорит, что он ручается за ее сохранение только тогда, когда *всё* и *всегда* было исполняемо. И от Вас зависит, чтобы *всё* было исполняемо *всегда*. Но не забывать, что без душевного лекарства не может действовать и телесное.

P. S. Баронесса (я слышал) говорила7, что не худо бы пригласить к Вам в Долбино Николы Гостунского8 протопопа, думая, что его присутствие по-

служило бы к Вашему успокоению. Тетушка нашла это излишним — и очень справедливо. А мне это было и досадно. Почему же человек, одетый в рясу и имеющий имя протопопа, может иметь на Вас более влияния, нежели наша общая польза, нежели вид Ваших детей, нежели собственный рассудок, который запрещает Вам всякое излишество и говорит Вам, что избегать всякого бесполезного расстройства души есть Ваша должность. Признаюсь, что ничто так меня не трогает и не возбуждает моего почтения, как спокойная твердость чувствительного человека, решившегося исполнять свою обязанность, ничему не поддаваясь, и ничто так не приятно, как иметь такое почтение к своим друзьям.

Самое действительное лекарство от огорчения есть *занятие*. Это я много раз испытал на себе. Вы имеете два таких занятия, которые могли бы служить для Вас на всю жизнь источником приятнейшей *деятельности: воспитание* Ваших детей и *хозяйство*. По сию пору я еще не заметил, чтобы Вы и тем и другим занимались как дóлжно. О последнем не говорю, потому что не могу никакого подать совета в таком деле, которого не знаю; что же касается до первого, то Вам нельзя же вообразить, чтобы Вы имели все сведения и опытность, нужные для воспитания. Прочитывать в день по странице с Петрушей и с Ваничкой9 не значит еще их воспитывать. Если где нужна метода и *одна* постоянная система, то, конечно, в воспитании, ибо здесь каждый шаг, каждая ошибка могут иметь важнейшее следствие на целую жизнь детей. Скажите ж, имеете ли Вы какую-нибудь методу? Ее можно только занять из чтения хороших книг и из чтения порядочного; а Вы читаете Ифланда10, переписываете ноты или (helas![[5]](#footnote-6)) мои стихи. Надобно Вам самим несколько времени поучиться, чтобы сделаться полезною для детей. Для сыновей Ваших будут со временем открыты университеты, а для дочери Вы одни. Для чего же не стараетесь скоплять нужные сведения для воспитательницы. Одной материнской привязанности не довольно. И в самом образовании нравственности нужна метода. Чтобы получить ее, надобно спроситься с книгами: в них собраны чужие опыты, которые можно приноровить к своим обстоятельствам. Займитесь же сперва воспитанием как *наукой*, для себя, потом будете исполнять прочитанное на деле. А это занятие наполнит приятнейшим образом Вашу жизнь, и с ним душевное спокойствие неразлучно. Только порядок и постоянство.

Еще раз прошу: *этого письма отнюдь никому не показывать*. Исполнение этой просьбы будет доказательством искренней дружбы.

1. Действуйте по обстоятельствам (*франц.*). [↑](#footnote-ref-2)
2. Время предпринимать серьезные меры предосторожности (*франц.*). [↑](#footnote-ref-3)
3. Чувствительность (*франц.*). [↑](#footnote-ref-4)
4. Режим (*франц.*). [↑](#footnote-ref-5)
5. Увы! (*франц.*). [↑](#footnote-ref-6)